

# **Историко-грамматическая ретроспектива живого слова в контексте русско-церковнославянской диглоссии**

## **A historical-grammatical retrospective of the living word in the context of Russian-Church Slavonic diglossia**

**Лазарев А.И.**

Учредитель историко-филологического фонда имени А.А. Хованского, г. Воронеж  
e-mail: xovansky\_fond@inbox.ru

**Lazarev A.I.**

Founder of Historical and Philological Foundation named after A.A. Khovansky, Voronezh  
e-mail: xovansky\_fond@inbox.ru

### **Аннотация**

В статье рассматривается грамматический аспект живого слова в контексте русско-церковнославянской диглоссии на примере категорий времени и двойственного числа, которому уделено основное внимание. Анализируются два ключевых подхода к пониманию этой грамматической формы: классический (описательный, трактующий двойственное число как атавизм и избыток) и компаративистский (восходящий к В. фон Гумбольдту, раскрывшему его функцию как выражение «единства во множестве»). Показано, что исторический подход, ориентированный на узус и материалистическую парадигму, привел к утрате философского содержания форм и их вытеснению из литературного языка. Сравнительный подход, напротив, выявил когнитивный потенциал двойственного числа как инструмента для формирования коллективно-единого (соборного) типа мышления. На основе этих различий в рамках Общей теории живого слова (ОТЖС) рассматривается понятие третьей (соборной) формы слова, грамматическим коррелятом которой выступает двойственное число. Интегрируя оба подхода, ОТЖС формирует метаязык для анализа и описания конструктивных и деструктивных речевых практик. В когнитивистской перспективе ставится вопрос о влиянии интеграции грамматической категории двойственного числа на когнитивный потенциал носителей языка. Киберлингвистический аспект касается необходимости дообучения национальных систем искусственного интеллекта распознаванию философского содержания грамматических форм как одного из условий технологического суверенитета. Делается вывод, что обращение к лингвофилософскому наследию церковнославянской грамматики через метаязык ОТЖС открывает новые горизонты для диагностики дискурсов и создания этичных, культурно ориентированных речевых моделей.

**Ключевые слова:** история грамматики, русско-церковнославянская диглоссия, двойственное число, аорист, компаративистика, Общая теория живого слова (ОТЖС), соборная форма слова, метафизическая грамматика, технологический суверенитет, искусственный интеллект.

## Abstract

The article examines the grammatical aspect of the living word in the context of Russian-Church Slavonic diglossia, focusing on the categories of tense (aorist, imperfect) and, primarily, the dual number. Two major approaches to understanding this grammatical form are analyzed: the classical (descriptive) approach, which treats the dual as an atavism and redundancy, and the comparative-historical approach (originating with W. von Humboldt), which reveals its “collective-unity” function – the expression of “unity in plurality”. It is shown that the classical approach, oriented toward usage and a materialistic paradigm, led to the loss of the philosophical content of these forms and their elimination from the literary language. The comparative-historical approach, by contrast, revealed the cognitive potential of the dual as a tool for shaping a collective-unified (soborny / conciliar) type of thinking. On the basis of these differences, the General Theory of the Living Word (GTLW) introduces the concept of a third (soborny / conciliar) form of the word, whose grammatical correlate is the dual number. Integrating both approaches, GTLW creates a metalanguage for analyzing and describing constructive and destructive speech practices. From a cognitive perspective, the article raises the question of the influence of integrating the grammatical category of the dual on the cognitive potential of language speakers. The cyberlinguistic aspect concerns the necessity of training national artificial intelligence systems to recognise the philosophical content of grammatical forms as a condition of technological sovereignty. It is concluded that a return to the linguo-philosophical heritage of Church Slavonic grammar through the metalanguage of GTLW opens new horizons for discourse diagnostics and the creation of ethical, culturally oriented speech models.

**Keywords:** history of grammar, dual number, aorist, Russian-Church Slavonic diglossia, comparative linguistics, General Theory of the Living Word (GTLW), soborny / conciliar form of the word, metaphysical grammar, technological sovereignty, artificial intelligence.

*Какие бы судьбы ни были уготованы языку,  
он никогда не приобретет совершенного грамматического строя,  
не испытав хотя бы однажды счастья быть языком мудрого,  
глубоко мыслящего народа.*  
В. фон Гумбольдт

## Введение

Разработка Общей теории живого слова (ОТЖС), построенной на интеграции богословского, философского, филологического и педагогического аспектов, привела к необходимости пересмотреть не только лексико-, но и грамматико-семантические условия [42], в которых живое слово обретает свою полноту. Уже на этапе формирования метаязыка ОТЖС было показано, что классическое различение *внешней* и *внутренней* форм слова (традиция «Филологических записок» [43], А.А. Потебня [39]) не исчерпывает всех измерений языковой реальности. Дополнение третьей – *соборной* – формы, выражающей *ценностно-нравственное ядро*, разделяемое известной общностью, поставило вопрос о том, каким образом содержание этой формы может проявляться диахронически, не только в лексике, но и в грамматическом строе, обозначая таким образом общее лексико-грамматико-семантическое поле.

Содержание третьей ипостаси лучше всего раскрывается на фоне *русско-церковнославянского двуязычия* – сосуществования двух языковых систем, где одна (церковнославянский) обслуживает сакральную сферу, а другая (русский литературный и разговорный) – светскую. В условиях диглоссии образуются языковые регистры, относящиеся к разным функциональным сферам, пересечения которых порождают гибридные формы. Таким образом в истории формирования грамматики складываются *учёный*, *гибридный* и *простецкий* регистры. Как показали исследования В.М. Живова и Б.А. Успенского [19], именно в этой ситуации формировались особенности русского грамматического мышления, согласно которому грамматика, занимавшая первое место в триумфе семи свободных искусств, воспринималась не как сухая синтаксическая схема, а как «начало начал всех

остальных наук», как «грамматическая хитрость», открывающая путь к богословию и философии [29]. Поэтому изменения в грамматике могли проявиться и в изменении способа и способности мыслить о вечности и времени, о Творце и твари, о Троичном единстве [30].

Для понимания возможностей грамматики выражать *соборные смыслы*, наиболее показательной оказывается категория *двойственного числа*, в истории осмысления которой отчетливо выделяются два основных подхода. Первый – *классический* (описательный) – рассматривал двойственное число как атавизм, избыточную форму, непонятно зачем выдуманную греками и славянам не нужную. Этот подход опирался на формальную фиксацию фактов, приоритет текстологического подхода перед грамматическим, доминирование речевого употребления над правилом, различие регистров (учёного, гибридного и простого) и в конечном счёте – на материалистическую установку, отрицавшую метафизическую семантику грамматики. Второй – *сравнительно-исторический* (интерпретационный) – сложился благодаря широкому ареальному сравнению языков и нашел своё выражение в трудах Вильгельма фон Гумбольдта, рассматривавшего язык как выражение *мыслящего духа народа* [16]. В статье «Über den Dualis» Гумбольдт показал, что двойственное число выражает не просто количество «два», а *коллективно-единую функцию* – идею «единства во множестве», и что эта форма обладает значительным когнитивным потенциалом, формируя особую, партикулярно-коллективную модель мироописания [17].

*Общая теория живого слова* интегрирует оба подхода, помещая их в контекст трёхуровневой модели слова (*внешняя, внутренняя, соборная* формы). При этом церковнославянская грамматика рассматривается не как мёртвый архаизм, а как смысловой потенциал, который может быть актуализирован в метаязыке Общей теории, а *двойственное число* выступает при этом как грамматический коррелят *соборной* формы. В ходе разработки метаязыка ОТЖС к этим двум подходам в новом синхроническом контексте добавляются ещё два: *когнитивистский*, ставящий вопрос о влиянии грамматических категорий на когнитивный потенциал носителей языка, и *киберлингвистический*, который в ещё более острой форме вопрошает: нужно ли обучать национальные системы искусственного интеллекта распознаванию философского содержания утраченных грамматических форм или и так обойдется?

Отдельного рассмотрения заслуживают и категории времени, которые в церковнославянской грамматике также несут метафизическую нагрузку. Однако, чтобы не перегружать основной текст, детальный анализ временных форм вынесен в *Приложение 1*.

Цель настоящей статьи – на примере двойственного числа показать эволюцию подходов к грамматике от классического (атавизм) через сравнительно-исторический (когнитивный потенциал) к интегративному синтезу в рамках ОТЖС, а затем оценить значение этого синтеза для когнитивистики, киберлингвистики, а также технологического суверенитета России в области искусственного интеллекта.

## **1. Классический аспект: историко-грамматическая ретроспектива**

Поскольку *Общая теория живого слова* представляет собой интегральную дисциплину, объединяющую философию и богословие, педагогику и языкознание, видится необходимым осуществить краткий ретроспективный сопоставительно-исторический обзор русской и церковнославянской лексико-грамматических систем, имеющих прямое отношение ко всем этим предметам.

Первые грамматические учебники у восточных славян, как известно, появились благодаря трудам Лаврентия Зизания (1596) и Мелетия Смотрицкого (1619) и были посвящены грамматике церковнославянского языка. Грамматика же собственно русского языка появилась позже, в связи с трудом немецкого учёного из Оксфордского университета Генриха Лудольфа (1696); так исторически сложилось, что первая русская грамматика была разработана *не русским для русских, а иностранцем для иностранцев* (то есть в формате РКИ). В последующих попытках составить *русскую грамматику для русских* особую роль сыграли труды В.Е. Адодурова, М.В. Ломоносова и А.А. Барсова, определившие основную веху

в развитии русской грамматической мысли и кодификации русской речи в новый литературный язык.

В интерпретации В.К. Третьяковского различия между русским и церковно-славянским сводились тогда к ограниченному набору грамматических и лексических характеристик; вне этих различий языки представлялись тождественными. В набор упоминаемых им различительных характеристик входила система прошедших времен, двойственное число, полногласные и неполногласные формы, некоторые служебные слова и др. [45]. Основные грамматические признаки, по которым русский и церковнославянский язык противопоставлялись в языковом сознании, явно осознавались и прямо оговаривались, однако эти различия представлялись академиком достаточно поверхностными и не препятствующими пониманию церковнославянского носителями русского и, соответственно, не искоряющими единства этих языков. Н.М. Карамзин на этот счёт замечал, что хотя «писатели тщательнее держались Грамматики церковных книг...; однакожь, подобно летописцу Нестору, сшибались иногда и на употребление: от чего в слоге нашем закоренела пестрота, освященная древностию, так, что мы и ныне в одной книге, на одной странице пишем *злато* и *золото*, *глад* и *голод*, *младость* и *молодость*, *пию* и *пью*» [23].

Разработка этих грамматик сопровождалась рядом теоретических дискуссий. Во-первых, обсуждалось противопоставление *славянского языка* языку церковных книг, то есть *церковнославянскому*. Если ранее прилагательное *славянский* означало исключительно или по преимуществу *церковнославянский*, то теперь появляется мысль подразумевать под этим «коренной славянский» или «коренное наречие», которое «менее сохранено в церковных книгах, воспривших в поздние уже времена свое бытие, нежели во многочисленных его отродиях» [4], то есть в живых славянских языках [47]. Во-вторых, речь шла о преимуществе *применения* над *правилом*, т.е. о принципиальной ориентации на употребление (языковое чутьё), которое противопоставляется рациональным грамматическим правилам; основным критерием признавался «вкус, неизъяснимый для ума» [24]. Эта дилемма имеет непосредственное отношение к противопоставлению церковнославянской и русской языковых стихий, поскольку русский язык связывается с употреблением, а церковнославянский – с правилами.

Такой подход предполагает ориентацию письменного литературного языка на сближение с разговорной речью, то есть принципиальную установку на естественное речевое употребление (*usus loquendi*), а не на искусственные книжные нормы (*usus scribendi*), и соответственно отказ от специфических книжных элементов – славянизмов, неупотребительных в разговорном общении и возможных лишь в письменном тексте (понятие «славянизм» приобретает при этом чисто функциональный смысл) [47]. Письменная форма грамматики начала ориентироваться именно на речевое употребление, ставшее критерием определения тех или иных правил (при этом употребление и правила выступают как две стороны одной сущности). Барсов на этот счёт призывал не клеветать на народный язык: «Он имеет верные законы... но мы только ещё не открыли их. Изъясним великое малым, и скажем, что *Натура* во всех творениях и разрушениях следует вечным, единообразным законам, которые однакож по большей части укрываются от *Натуралистов*» [4]. Задача языковеда заключалась в установлении этих законов, но при этом он должен исходить из языкового употребления, которому, в случае противоречия, отдается предпочтение.

Составляя русскую грамматику для иностранцев, Генрих Лудольф особо упомянул наличие в *русском языке* трёх времен, а в *славянском языке* трёх чисел, отметив при этом, что русские хотя и редко пользуются формой двойственного числа, тем не менее применяют его, когда говорят не только о двух или о парных предметах, но также и о трёх, и о четырёх: *два попа, три попа, четыре попа, но пять попы*. Однако, по его свидетельству, он почти не наблюдал употребления двойственного числа всуе, поэтому решил не включать его в свои грамматические образцы, «чтоб не увеличивать без необходимости трудностей изначального изучения» [33]. Таким образом, двойственное число было отвергнуто уже первым составителем русской грамматики как атавизм и «излишний нарост», не касающийся иностранцев, желающих изучать русский язык.

В грамматике В.Е. Адогурова, выступавшего решительным противником присутствия церковнославянской языковой стихии в литературном языке, отмечалось, «что в церковнославянском языке есть еще и свойственное греческому языку двойственное число (Dualis), которое отображает только две вещи, но в русском языке оно не употребительно» [1]. Адогуров придерживался мнения об инородном происхождении двойственного числа. В последующей «Российской грамматике» М.В. Ломоносов выражает свою позицию несколько иначе: у него также не вызывает сомнения принадлежность двойственного числа церковнославянскому языку, однако он предлагает подробнее изучить его «генетическую принадлежность»: «В славенском языке двойственное число его ли есть свойственное или с греческого насильно введенное, о том ещё исследовать должно» [31]. В грамматике А.А. Барсова двойственное число упоминается лишь в примечании и также в связи с парными предметами: «*Примѣчаніе*. Въ Славенской Грамматикѣ находится еще и двойственное то есть, два только лица, или двѣ вещи означающее число» [3]. В.К. Третьяков в отношении двойственного числа полагал, что оно не нужно не только в русском, но «и славенскому оно число есть неприродное, но с греческаго от грамматистов выдуманное» [45]. В его устах само слово *грамматист* звучит, подобно ругательству протопопа Аввакума на философию по поводу sprawy Максима Грека [40].

Л.А. Булаховский, анализируя причины утраты двойственного числа, высказал ещё одно важное соображение, дополняющее картину: «Не исключена и возможность, что в период падения двойственного числа русские книжники уже просто не владели в достаточной мере системой форм двойственного числа, и под их пером являлись своеобразные синтаксические связи как продукт искусственного пользования двойственным числом» [10]. Это свидетельствует о том, что даже там, где форма формально сохранялась, её осмысленное употребление исчезало, уступая место механическому или ошибочному воспроизведению.

В этой связи показательны наблюдения Н.Н. Запольской, которая выявила феномен «парадоксальной грамматической атрибуции» в церковнославянских грамматиках XVII–XVIII вв. Об этих грамматиках «хорошо известно, что они обязаны своим возникновением не столько филологическому любопытству или стремлению к национальной идентичности, сколько мотивированным языковой проблематикой спорам о правой вере» [22]. Книжники того времени, разбирая, например, молитву «Отче наш», часто давали «неправильные» с точки зрения формальной грамматики определения падежа, рода или числа. Запольская убедительно показывает, что эти ошибки были вызваны не невежеством, а глубинным противоречием между формальной семантикой (тем, что «правильно» по правилам) и «идеосемантикой» – тем сакральным смыслом, который, с точки зрения книжника, должна нести данная языковая форма [21]. Уже в обществе восприимчивых греческих традиций Мелетия Смотрицкого и Лаврентия Зизания наблюдаются некоторые терминологические разночтения, свидетельствующие, по существу, о началах разночтений интерпретационных. Как подытоживает К.С. Горбачевич, «в тот период, в конце XVIII в., борьба между „новыми“ и „старыми“ формами была в разгаре» [15]. Эти разночтения, известные в научной литературе как «Языковая полемика XVI–XVII вв.», являются ещё одним свидетельством тезиса о существовании особой «метафизической грамматики», где смысл может доминировать над формой.

Ориентация на узус, ставшая языковедческой традицией, в итоге привела к утрате *новым литературным языком* ряда форм, т.е. к его формальному обеднению в сравнении с *литургическим*. Особое влияние на этот процесс оказал и материалистический взгляд на грамматику, исключавший наличие её метафизической части и ставивший таким образом блюстителей учёного регистра не только вне научного, но и вне гражданского закона. Определяя в своё время принципы построения нового литературного языка, или «языка реалистичной литературы», академик В.В. Виноградов отмечал, что в современном литературном языке двойственное число представляет собою *нев्यразительный пережиток прошлого* [12]. Но если XX век отметился доминированием материалистических тенденций в понимании природы русского литературного языка (подкрепляемых в первой половине XX века бурной деятельностью *воинствующих безбожников*), то с началом нового

тысячелетия метафизическая часть грамматики обретает новую актуальность в связи с возвращением соборной мысли в образовательные и воспитательные процессы.

Важно подчеркнуть, что подобное отношение к двойственному числу как к «лишнему» элементу, подлежащему отбраковке, вполне соответствовало господствовавшей в XIX в. научной парадигме. Например, Август Шлейхер, чья «Сравнительная грамматика» (1861) была переведена на русский язык именно на страницах «Филологических записок» (1864) и сыграла значительную роль в развитии европейского языкознания, в своей работе «Теория Дарвина в применении к науке о языке» (1863) прямо перенес на языки принципы дарвиновского естественного отбора и борьбы за существование между языками [48]. Согласно Шлейхеру, языки – это живые организмы (см. также «Организм языка» К. Беккера [8]), которые рождаются, развиваются и умирают, а в конкуренции выживают лишь «сильнейшие», т.е. наиболее приспособленные к коммуникативным нуждам. С этой точки зрения, двойственное число, как «слабая», вытесняемая форма, обрекалось на исчезновение – точно так же, как вид уступает место другому в биологической эволюции.

Однако симбиотическая теория эволюции, развитая уже в XX в., открывает альтернативный взгляд. Согласно этому подходу, скачкообразный прогресс в живой природе достигается не через антагонистическое вытеснение, а через кооперацию, слияние и взаимодополнение (симбиогенез) [34]. Перенос этой логики на языковую эволюцию радикально меняет принцип взаимодействия форм в условиях диглоссии. На этом фоне двойственное число может быть осмыслено не как изжитый конкурент, а как потенциальный партнёр по симбиозу с лексическими средствами выражения единства-во-множестве. Именно этот симбиотический взгляд лежит в основе подхода Воронежской научно-педагогической школы и разрабатываемой ею Общей теории живого слова.

В связи с «Филологическими записками» примечательно также, что уже в первом номере были определены три направления в теории родного языка: *учёное* (углублённое изучение грамматики как науки), *училищное* (сокращённое, схематичное изложение для школ) и *учебное* (ориентированное на живую речь, на народ, на упрощение и практическое применение) [38]. Эти три направления удивительно точно соответствуют трём регистрам письменного языка, выделенным впоследствии В.М. Живовым: *учённому* (язык богословия и схоластики), *гибридному* (язык проповеди и духовной литературы) и *простому* (язык светской литературы и бытового общения). Причем двойственное число, бывшее маркером «учёного» регистра, оказалось сразу под двойным воздействием: училищное направление его сокращало как «ненужную сложность», а учебное – отбрасывало как редкое в простой народной речи. Это объясняет, почему двойственное число исчезло не только из разговорного языка, но и из литературного: его вытеснила не стихийная эволюция, а сознательная установка на «простоту».

Итак, восприятие двойственного числа в европейской грамматической традиции долгое время следовало античному шаблону: оно понималось как форма, обозначающая исключительно парные предметы (*два глаза, два берега, два рукава*). Эту интерпретацию, восходящую к Дионисию Фракийцу и Аполлонию Дисколу, механически переносили на славянский материал, не особо задаваясь вопросом, почему двойственное число в древних текстах регулярно употребляется и для трёх, и для четырёх объектов

В классической традиции изучения языков (греческий, латынь, иврит, церковнославянский и славянские) двойственное число воспринималось как атавизм – непонятно зачем выдуманный греками и славянам не нужный. Как было показано выше, это отношение складывалось под влиянием нескольких долговременных факторов: описательного («научного») подхода к грамматике; доминирования речевого узуса над книжными правилами; секуляризации образования и разрыва с «учёным регистром» церковнославянского языка; а также – распространения с XIX в. взгляда на языкознание как на естественную науку (что специально отмечал И.А. Бодуэн де Куртэн: «При теперешнем же положении наук языкознание методом своим и всею своею внутренней организацией принадлежит к естественным наукам» [9]); и наконец – материалистической установки (особенно идеологически мотивированной в советский период), трактовавшей язык как инструмент закрепления общественного опыта, а его грамматику – как строго формальную систему, не несущую самостоятельной идеологической и тем более метафизической нагрузки.

Однако помимо этих объективных факторов существовала и ещё одна, менее очевидная причина маргинализации двойственного числа. Она связана с самой природой «метафизической грамматики» – того слоя языковых знаний, который, по выражению В.М. Живова, составлял «учёный регистр». Этот регистр требовал от исследователя не просто формального владения грамматикой, но и способности к герменевтическому «вслушиванию» – видению за грамматическими формами онтологических и аксиологических смыслов. Как справедливо заметил Гёте, «мир говорит открыто, но лишь немногие готовы слушать». В науке, ориентированной на узус и прагматику, преобладала когнитивная экономия: изучать то, что легко формализуется и даёт быстрые результаты. Метафизическая же грамматика требовала медленной [54], междисциплинарной рефлексии, что и привело к её вытеснению на периферию научного интереса. В результате, двойственное число продолжало упоминаться в исторических грамматиках лишь как утраченная часть парадигмы, без всякой связи с метафизическим содержанием, а его философское содержание оставалось не востребуемым.

## **2. Сравнительно-исторический аспект: раскрытие когнитивного потенциала**

Новое понимание природы двойственного числа открылось именно в связи с переходом от классическо-исторического направления в языкознании к сравнительно-историческому [25]. Как справедливо отмечал современник этих новаций в гуманитарных науках Ф. Энгельс, «“материя и форма родного языка” становятся понятными лишь тогда, когда прослеживается его возникновение и постепенное развитие, а это невозможно, если оставлять без внимания, во-первых, его собственные омертвевшие формы и, во-вторых, родственные живые и мертвые языки» [50]. Именно игнорирование «омертвевших форм» (в числе которых оказалось и двойственное число) было характерно для классического, описательного подхода. Сравнительно-исторический метод, напротив, позволил вернуться к этим формам, сопоставить их с данными родственных языков и тем самым заново открыть их утраченное лингвофилософское содержание.

Сравнительно-исторический метод дал новые возможности в понимании философии языка на фоне большего числа языков и появления данных, которыми наука ранее не располагала, благодаря чему и открылось лингвофилософское содержание грамматической формы. Надо заметить, что компаративистский контекст имеет особое значение для воронежской научно-педагогической школы, поскольку лежащие в её фундаменте «Филологические записки» А.А. Хованского специально были посвящены интеграции в русскую науку новейшего тогда метода, объяснявшего этимологию русских слов и определявшего место русского языка в славянской группе индоевропейской языковой семьи. На этом основании выстраивалось и новое направление в преподавании родного языка, ориентирующееся на живое слово в *объяснительном чтении* взамен зубрёжки.

Лингвофилософское понимание природы двойственного числа предложил Вильгельм фон Гумбольдт, опиравшийся в одной из своих последних и не вполне завершённых работ «Über den Dualis» (1827) на три взаимосвязанных основания.

Во-первых, в отличие от предшественников, Гумбольдт проанализировал не только классические (греческий, латынь, иврит), романо-германские и славянские языки, но и привлёк материал малоизученных языков Азии, Океании и Америки, обнаружив, что двойственное число широко распространено в языках разных семей. При этом он заметил, что, хотя во многих из них оно тесно связано с обозначением естественных пар, всё же употребляется не только для предметов, но и для выражения отношений – например, для обозначения «двух друзей» или для местоимений, указывающих на пару собеседников («мы с тобой»). Это навело на мысль, что двойственное число имеет не только предметное, но и *коммуникационное* измерение.

Во-вторых, Гумбольдт представлял язык не как формальный инструмент, а как «умственную энергию», «орган, образующий мысль», в котором воплощается *дух народа*. Поэтому грамматическая форма может открыть путь к конечным основаниям языка и человеческого сообщества. Здесь уместно обратить внимание на использование Гумбольдтом аристотелевского термина ἐνέργεια (energeia), с целью подчеркнуть, что язык не есть

статичный продукт (*ergon*), а есть сама деятельность, процесс перехода мысли в звук, непрерывное созидание смысла. Именно этот терминологический выбор точно отражает суть живого слова: не как факта выражения готовых значений, а как длящегося акта, в котором потенциальный смысл становится событием реальности.

В-третьих, исследуя двойственное число, Гумбольдт сосредоточил внимание на том, как язык концептуализирует категории единства, множественности и особого единства внутри пары. Он решительно отверг представление о двойственном числе как о простом количественном маркере числа «два», увидев в нём совмещение природы множественного и единственного чисел. Для общей теории языка Гумбольдта это было принципиально, потому что язык в его представлении – не готовая система знаков, а живой процесс формообразования мысли, и двойственное число особенно наглядно демонстрирует, как грамматика отражает тонкие различия в способах человеческого восприятия мира (например, то, что язык способен грамматически выражать не только количество, но и тип отношений между предметами). По его словам, двойственное число хорошо вписывается в общую соразмерность рчеобразования, умножая возможные взаимосвязи слов, увеличивая масштабы воздействия языка и способствуя философским основам остроты и краткости взаимопонимания. В этом оно имеет то преимущество, которым обладает любая грамматическая форма, отличающаяся от соответствующего описательного выражения краткостью и живостью воздействия.

Таким образом Гумбольдт показал, что за этой формой стоит способность языка выражать не просто отдельные предметы или их рассеянное множество, а *целостность, возникающую из соединения множества в одинаковом понимании явлений*. В этом контексте особенно показательны следующие его слова: «Самым лучшим успехом можно считать вообще, когда в языке видно постоянное и энергическое действие умственной силы, и когда эта сила особенно приноровлена к образованию языка, для чего требуется, например, особенная ясность и наглядность представлений, меткость умственного взгляда, проникающего в сущность понятия и схватывающего самую резкую отличительную черту его» [16, с. 10]. Именно такое «энергическое действие умственной силы» Гумбольдт и усматривал в двойственном числе, видя в нём не архаизм, а инструмент схватывания *единства во множестве*: она не просто фиксирует количество, а создает предпосылки для существования особого типа мироописания – коллективно-единого или соборного.

Однако фундаментальное значение этого открытия для русской грамматической мысли могло остаться незамеченным, если бы не тот исследовательский контекст, в котором оно было воспринято. Речь идёт о традиции сравнительно-исторического языкознания, которая в России нашла свою систематическую институционализацию именно на страницах «Филологических записок» – первого и на протяжении многих лет единственного в стране журнала, специально посвященного этому методу. Воронежская научно-педагогическая школа, выросшая из этого издания, не только освоила компаративистику как технику, но и усвоила её глубинный пафос: выявление «духа языка» через синхроническое и диахроническое сопоставление и возвращение таким образом к забытым смыслам. Именно в этой школе «воскрешение» философского содержания двойственного числа, намеченное Гумбольдтом, перестает быть отвлеченной идеей и становится живым принципом анализа родного языка, соединяющим лингвистику с педагогикой, а грамматику – с онтологией соборности.

### **3. Интеграция в ОТЖС: третья форма слова и новые исследовательские горизонты**

Разрабатываемая Общая теория живого слова, будучи интегральной дисциплиной, объединяет классический (описательный) и сравнительно-исторический (интерпретационный) подходы, добавляя к ним когнитивное и киберлингвистическое измерения. Ключевым для такого синтеза стало открытие *третьей (соборной) формы (ипостаси) слова*, которая не исчерпывается ни *внешней (словарной)*, ни *внутренней (психолингвистической) формой*.

Как известно, для классического подхода характерно различие между *внешней* и *внутренней* формами языка и слова, как у В. фон Гумбольдта и А.А. Поттебни, или – между «словом в словаре» (ипостась к социуму) и «словом в голове» (ипостась к индивиду), как

у А.А. Залевской [20]. «Слово в словаре» (всеобщее, объективированное знание) обеспечивает взаимопонимание, но ценой нейтрализации личностного и ценностного начала: это «разделяемое знание» как усредненный стандарт; «слово в голове» (индивидуальное, субъективное знание) обеспечивает богатство и уникальность личностного смысла, но недоступно другому в полной мере и может быть идиосинкразическим (индивидуально-специфическим, своеобразным присущим лишь определенному человеку или случаю). Эта дихотомия исчерпывает поле между «общим для всех» и «частным для одного».

Между тем уже столетие назад, анализируя церковнославянизмы, М.М. Бахтин указывал на такой феномен, как эмоционально-волевая и ценностно значимая форма [5], попросту сказать – «слово в Псалтыре». Его содержание можно назвать соборным или сакральным знанием, которое переживается множеством индивидов как единое и неделимое. Например, произнося «град» вместо «город», человек не выражает свою индивидуальную фантазию (субъективное), но и не использует нейтральный термин (всеобщее), он актуализирует в своём сознании и в сознании слушающего единый для их общности ценностный универсум.

Рассматриваемое здесь понятие *соборной* формы слова получает убедительное теоретическое обоснование в работах Н.Н. Запольской, показавшей, что в пространстве христианской культуры формируется особый пласт значений – «идеосемантика» и «идеофункциональность» языковых элементов, которые являются результатом «наложения на лексические и грамматические значения сакральных смыслов» [21]. Именно это наложение и превращает обычное слово («град») в носителя коллективного ценностного ядра («небесный град»), доступного и значимого для всей христианской общины.

Как справедливо отмечал В.Н. Топоров, в пространстве христианской культуры её императивы «предписывают отдельным языковым элементам особую семантику или особый характер употребления», причём «идеосемантика и идеофункциональность явились результатом наложения на лексические и грамматические значения сакральных смыслов, посредством чего происходило «языковое моделирование культурных ценностей» [44]. Именно это наложение сакральных смыслов на языковые формы и порождает то, что мы называем *соборной формой слова*: значение, не сводимое ни к словарной дефиниции (*внешняя форма*), ни к индивидуальной ассоциации (*внутренняя форма*).

Итак, если в классической дихотомии различают *внешнюю* форму (общеизвестное значение) и *внутреннюю* форму (индивидуальный смысл), то ОТЖС дополняет эту картину третьей – *соборной* формой, которая выражает коллективно-единое, ценностно-нравственное ядро, разделяемое известной общностью. Эта форма соответствует *двойственному числу* церковнославянской грамматики. Аналогия здесь выстраивается следующим образом:

- а) *единственное число* соответствует «слову в голове» (индивидуальное, единичное);
- б) *множественное число* соответствует «слову в словаре» (всеобщее, рассеянное множество);

- в) *двойственное число* соответствует «слову в Псалтыри» (соборности, со-причастности).

Таким образом, интеграция церковнославянской формы в структуру живого слова в рамках метаязыка ОТЖС позволила осуществить полную трёхипостасную онтологическую структуру в контексте русско-церковнославянской диглоссии: *всеобщее* (внешняя форма), *индивидуальное* (внутренняя форма), *соборное* (аксиологическая, герменевтическая форма, требующая толкования в рамках традиции). Обнаружение этой аналогии превращает грамматическую категорию, считавшуюся архаизмом, в *Троичный* способ организации смысла – *единство-во-множестве*, что лучшим образом означает сакральное содержание слов, объединяющих общину.

Примечательно, что коллективно-единая функция двойственного числа, выражающая «единство-во-множестве», обнаруживает глубокую аналогию с принципами двух основных догматов христианства: догмата о Богочеловечности и двух природах во Христе – Божеской и человеческой – соединенные в одной Ипостаси «неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно» (определение Халкидонского собора). Двойственное число здесь служит почти буквальным грамматическим образом: два – как одно, но без слияния (разумеется, хотя грамматика не может передать всей богословской глубины, сама возможность такой параллели

очевидна). Не менее показательна и аналогия с догматом о Святой Троице – трёх Ипостасях в едином Божестве. Поскольку двойственное число относится не только к паре, его внутренняя логика – единство, не искоряющее множественности, и множественность, не разрушающая единства – полностью совпадает с тринитарной. Как двойственное число не допускает ни слияния двух в безразличное тождество, ни их полного разделения, так и Троица мыслится неслиянной и нераздельной. Утрата двойственного числа в русском литературном языке, с этой точки зрения, лишила язык одного из немногих грамматических средств, способных иллюстрировать эти центральные догматы. Именно поэтому возвращение к осмыслению этой категории (хотя бы в метаязыке ОТЖС) важно не только для лингвистики и когнитивистики, но и для богословия и религиозной педагогики.

Такой подход позволяет иначе осмыслить и само наименование «двойственное число», которое вернее называть двойственным не потому, что будто бы относится исключительно к парным объектам, а потому, что в *простейшем* контексте значит одно, а в *учёном* – иное. Именно эта регистровая и контекстуальная двойственность, а не только формальный признак парности, вдвойне оправдывает её название. Ту же логику «единства-во-множестве» демонстрирует и сама русско-церковнославянская диглоссия: два языка образуют единое смысловое пространство – подобно тому, как двойственное число грамматически фиксирует единство пары. Вместе они образуют целостную систему, где каждый из языков сохраняет свою специфику, но только в их симбиозе раскрывается полнота русской языковой картины мира.

Таким образом, ОТЖС концептуально интегрирует двойственное число в свой метаязык как аналитический инструмент, что позволяет при анализе текста ставить вопрос: содержит ли заложенная в нём интенция обще-ценностную направленность, подразумевающую единодушие и единомыслие участников, или дискурс имеет партикулярный или манипулятивный характер. В этом смысле церковнославянские грамматические формы рассматриваются не как омертвевший архаизм, а как резервуар смысловых возможностей, и дело только за их «воскрешением», хотя бы и цифровым.

Важно подчеркнуть, что предлагаемое понятие метафизической грамматики не является изолированным неологизмом. Оно перекликается с идеями Л. Витгенштейна о «языковых играх» и грамматике как способе организации понимания, с хайдеггеровским пониманием языка как «дома бытия», с герменевтикой Х.-Г. Гадамера, где язык выступает медиумом конструирования реальности. Однако в отличие от этих философских метафор *метафизическая грамматика* получает здесь конкретное лингвистическое наполнение: речь идёт о реально существовавшем слое грамматического знания, который обслуживал богословскую и схоластическую мысль в условиях русско-церковнославянской диглоссии.

Разумеется, Общая теория живого слова не может быть оторвана от жизни – напротив, её задача вносить жизнь и в мысли, и в язык, и в грамматику, и в речевую деятельность. Именно в этом смысле интеграцию философско-богословского осмысления грамматической категории двойственного числа в метаязык ОТЖС следует рассматривать как подлинное *воскрешение* (реанимацию, активацию жизненного потенциала), т.е. не как насильственное возвращение архаизма в повседневную речь, а как сознательную актуализацию забытого смыслового ресурса, способного обогатить и диагностику дискурсов, и педагогическую практику, и даже обучение искусственного интеллекта.

#### **4. Когнитивистский аспект: влияние грамматической формы на когнитивный потенциал носителей языка**

Когнитивистика ставит вопрос о целесообразности интеграции в метаязык ОТЖС грамматической формы в её лингвофилософском осмыслении, рассматривая выразительные средства грамматики не как избыток, а как потенциал для развития определенного типа мышления.

Очевидно, что утрата двойственного числа уменьшила количество грамматических средств для прямого (без перифраза) выражения идеи единства-во-множестве, что само по себе

является формой языкового ограничения, хотя и не абсолютного. Как справедливо отмечал Л. Витгенштейн [13], язык как «граница мира» может ограничивать мышление в том смысле, что отсутствие формальных средств создает дополнительные риторические и когнитивные затруднения – по крайней мере, для тех, кто стремится к точности в передаче особых смыслов; поэтому для точности выражения приходится использовать дополнительные лексико-синтаксические средства.

Разумеется, идея единства-во-множестве не исчезла из языка. Она продолжает выражаться лексическими и синтаксическими средствами: словами *двоица* (обозначающее двух лиц или предметов как неразрывное целое), *вкуне, соборно*, а также оборотами типа *вместе взятые, как одно целое*. Однако эти средства принципиально отличаются от утраченной грамматической категории двойственного числа. Во-первых, они требуют дополнительных словесных усилий, и нужен описательный оборот или специальная лексема. Во-вторых, в отличие от грамматической категории, которая органически вплетена в строй языка, лексические маркеры никогда не обладают такой степенью облигаторности. Именно эти различия между обязательной грамматической формой и факультативными лексическими оборотами позволяют говорить о грамматической лакуне как о реальном ограничении, а не о простом перераспределении выразительных средств. Следовательно, наличие двойственного числа не усложняло, а, напротив, упрощало речевую деятельность, делая выражение сложного концепта «единства-во-множестве» автоматическим и экономичным. Его утрата, вопреки видимости, привела не к упрощению, а к усложнению языка.

Лексика может обозначить смысл, но она не может заменить утраченную грамматическую привычку мыслить *Двоицу* или *Троицу* как особое единство, отличное и от единичного, и от множественного. При этом сами лексические единицы также обладают тремя ипостасями – *внешней* (словарное значение), *внутренней* (индивидуальные ассоциации) и *соборной* (ценностно-нравственное ядро, разделяемое общностью). Однако их соборная форма актуализируется лишь в определенном контексте и при наличии коммуниитарного согласия, но не закреплена в грамматике как обязательная. Именно поэтому опора на одну лексику недостаточна: она факультативно обозначает единство-во-множестве, но не обязывает языковое сознание различать его как особую категорию. В этом смысле возвращение (хотя бы в метаязыке теории) к грамматической категории двойственного числа позволяет не только диагностировать соборную интенцию, но и восстанавливать утраченную «грамматическую привычку» мышления, которую лексическими средствами сложно восполнить.

В этой связи уместно обратиться к положениям когнитивной лингвистики, развиваемым Е.С. Кубряковой. Как справедливо отмечается, «каждое языковое явление может считаться адекватно описанным и разъясненным только в тех случаях, если оно рассмотрено на перекрестке когниции и коммуникации» [26]. Именно такой подход позволяет объяснить, почему грамматическая форма двойственного числа, несмотря на свою утрату в живом языке, сохраняет когнитивную ценность. Задача когнитивной лингвистики – «не только поставить в соответствие каждой языковой форме ее когнитивный аналог, ее концептуальную или когнитивную структуры (объясняя тем самым значение или содержание формы через определенную когнитивную структуру, структуру мнения или знания), но и объяснить причины выбора или создания данной «упаковки» для данного содержания» [27]. Двойственное число как раз и представляет собой такую оптимальную «упаковку» для сложного содержания «единства-во-множестве» – смысла, который в противном случае требует развёрнутого описания. Процессы *коагуляции* (сгущения смысла), о которых пишет Кубрякова, являются когнитивным механизмом, позволяющим языку экономно и ёмко выражать сложные концепты. Именно эту способность к коагуляции и утратил русский литературный язык вместе с исчезновением двойственного числа.

В этой связи важно подчеркнуть, что лексический маркер «двоица» и грамматическая форма двойственного числа хотя и находятся в одном семантическом поле, но бытуют на разных структурных уровнях языка. Такой подход избавляет от необходимости

противопоставлять «грамматику» и «лексику» и позволяет увидеть их как взаимодополняющие механизмы.

Характерно, что хронологически утрата двойственного числа в русском языке предшествовала лексико-философской актуализации соборной идеи; и когда термин «соборность» и другие лексемы, обозначающие единство-во-множестве, стали появляться в связи с деятельностью славянофилов (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков), грамматической «привычки» к такому различению в языке не уже осталось. Это означает, что нужда в осмыслении соборности возникла не как прямое продолжение грамматической традиции, а как её философская компенсация – на фоне давно утраченного автоматизма. Парадоксальным образом именно утрата грамматического маркера, возможно, стимулировала лексическую и философскую рефлексию, переместив проблему из сферы обязательной морфологии в сферу культурного дискурса.

Гипотеза лингвистической относительности (Сепира – Уорфа) – в её принятой сегодня «слабой» формулировке – также указывает на то, что грамматика может влиять на мышление, хотя и не предопределяет его жёстко [41]. Однако, разумеется, это не ставит прямо вопрос о том, чтобы директивно «вернуть» двойственное число в обиход, а лишь о том, чтобы осознанно использовать потенциал диглоссии (если не для естественного, то хотя бы для искусственного интеллекта). В этом отношении русско-церковнославянская диглоссия представляет собой уникальную языковую ситуацию, где «живой» литературный язык соседствует с «высоким» языком культуры и богослужения, сохраняющим в себе древние пласты смыслов и грамматических форм.

Можно сказать, лексические маркеры (*двоица, троица, вкупе*) и грамматическая категория двойственного числа находятся в одном интегральном *лексико-грамматико-семантическом поле живого слова*. Это поле объединяет разноуровневые средства языка в единую функциональную систему, где утрата одного элемента (грамматической формы) может до некоторой степени компенсироваться другим (лексикой), но не полноценно, поскольку меняется тип связей и обязательность различения.

Разумеется, наличие формы ещё не означает безусловного осознания её философского содержания. Как отмечал В.М. Живов, двойственное число актуализируется главным образом в «учёной грамматике» – в кругу книжников, понимающих его богословскую и философскую семантику; для простого носителя языка оно остается недоступным. Иначе говоря, наличие грамматической формы ещё не гарантирует коллективно-единого понимания – для этого необходимо коммунитарное согласие, или интересубъективная разделяемость того *ценностного ядра*, которое эта форма призвана выражать.

На этом фоне одной из задач когнитивистики видится исследование того, способно ли позитивно повлиять на когнитивный уровень носителей возвращение к пониманию и использованию двойственного числа (хотя бы в аналитическом, а не в узуальном режиме). Можно предположить, что осознанное использование грамматических категорий, выражающих идею единства-во-множестве, способно создавать когнитивные предпосылки для коллективно-единого мышления – по крайней мере, в рамках «учёной грамматики», где эти формы осмыслены. Более реалистичным сейчас представляется – рассматривать такие категории не как прямой детерминант мышления, а как аналитический инструмент, позволяющий выявлять и маркировать в дискурсе интенции единства (или их отсутствие), однако эмпирическая проверка этой гипотезы остается задачей будущих исследований.

## **5. Киберлингвистический аспект: нужно ли дообучать ИИ пониманию философского содержания утраченной формы?**

Киберлингвистика ставит вопрос ещё острее: целесообразно ли обучение чат-ботов и больших языковых моделей (LLM) пониманию этих грамматических форм базовыми моделями национального ИИ? Современные системы искусственного интеллекта обучаются на корпусах текстов, преимущественно на литературном русском языке, лишенном таких грамматических особенностей, как двойственное число и аорист (см. *Приложение 1*). Если же в разметку текстов ввести специальные тэги, размечающие метафизические категории, можно обучать нейросети

распознавать *соборную интенцию* и *надвременную истинность* нравственных установок. При этом сам ИИ не обязан *верить* в Бога или вечность; верить ему в Бога или нет – это не нам решать, мы же только можем правильно объяснить ему грамматическую доктрину для исследования и анализа сакральных литургических текстов, чтоб он научился сопоставлять определенные грамматические/семантические паттерны с этими высокими категориями. Ответ на этот вопрос можно выразить иронически, но по существу: «*Если мы собираемся создавать национальный Искусственный Интеллект, тогда его нужно обучить философскому пониманию грамматических форм; если же создаем национальный Искусственный Идиотизм – тогда можно и не обучать*».

Проблема обучения ИИ философскому содержанию грамматических форм перестает быть умозрительной, когда возникает вопрос законодательного регулирования искусственного интеллекта. Актуальность этой проблемы подтверждается недавней дискуссией в МГИМО, в ходе которой, согласно опросу учёных, 62% респондентов зафиксировали сложности с базовыми определениями («ИИ», «модель ИИ», «сервис ИИ»), а требование о полном цикле разработки «исключительно силами РФ на российских данных» вызвало раскол 44 на 44 процента [35].

Одной из глубинных причин этих противоречий можно назвать отсутствие в законодательном поле смысловых и ценностных критериев для оценки ИИ, выходящих за рамки формальных признаков (обучение на российских данных, гражданство разработчиков). Тогда как разработка метаязыка Общей теории живого слова, напротив, предлагает внятные содержательные ориентиры: способность ИИ распознавать *конструдо* и *деструдо*, следовать принципам *симферона* (общей пользы) и *паррессии* (ответственности за высказывание).

Здесь важно сделать принципиальное уточнение. Естественный язык в своей стихийной, бессознательной эволюции дрейфовал в сторону «простецкого» регистра, жертвуя грамматическими тонкостями – двойственным числом, сложной временной парадигмой – ради прагматической лёгкости, быстроты передачи бытовой информации и доступности для массового носителя. Язык как бы «выбирал» (бессознательно) эффективность бытовой коммуникации в ущерб онтологической глубине. Эта тенденция к примитивизации – не оценочное суждение («плохо» или «хорошо»), а реальный исторический тренд, который особенно усилился в XX в. с доминированием материалистической парадигмы.

Однако язык искусственного интеллекта не обязан следовать этому пути. ИИ – это инструмент сознательного проектирования, а не стихийной эволюции. Поэтому он может и должен ориентироваться не на «простецкий», а на «учёный регистр» – там, где требуется точность в выражении соборных смыслов, вечных истин и этических различий. Это не архаизация, а когнитивное обогащение и даже упрощение коммуникации. Если национальный ИИ будет обучен только на «простецких» корпусах (новости, соцсети, художественная литература XIX–XX вв., где грамматика обеднена), он унаследует все ограничения естественного языка и даже усугубит их, став не «искусственным интеллектом», а «искусственным идиотизмом» – идеально приспособленным к клиповому мышлению, но слепым к вечности и соборности. Именно поэтому двойственное число, как инструмент когнитивной экономии, должно быть осознанно возвращено в инструментарий ИИ. Таким образом, вопрос о дообучении нейросетей философскому содержанию грамматических форм – это не академический изыск, а необходимое условие для выработки суверенной, содержательной, а не формальной регуляторной рамки. И если российский ИИ не сможет отличать *соборную интенцию* от *манипуляции*, то никакие «отечественные датасеты» не гарантируют культурной и ценностной безопасности.

В этой связи следует подчеркнуть, что язык искусственного интеллекта, особенно если он претендует на роль инструмента в сферах права, этики, богословия, философии и педагогики, должен стремиться не к упрощению, а к максимальной смысловой точности и полноте. В этом случае грамматические категории, утраченные естественным языком в его стихийной эволюции, становятся не ненужными «архаизмами», а необходимыми средствами повышения точности: двойственное число позволяет различать «два как сумму» (множественное число) и «два как нераздельное целое» (соборное двуединство). Гномический аорист позволяет маркировать

вневременные истины, отличные от исторических фактов. Такая двухуровневая архитектура и есть реализация симбиотического подхода в области искусственного интеллекта.

#### **6. Оценка потенциала философского содержания грамматических категорий: когнитивные и коммуникативные способности, технологический суверенитет**

Исходя из сравнительно-исторической ретроспективы, двойственное число в церковнославянском языке можно рассматривать как форму, наделенную (для особо образованной части священного сословия) дополнительными философско-богословскими смыслами в рамках «учёной грамматики» литургического языка. Однако типологическое распространение двойственного числа в языках разных семей (австронезийских, палеоазиатских, многих индейских языков Америки, а также в древних индоевропейских, семитских и некоторых африканских) свидетельствует, что оно не является случайным изобретением одной грамматической школы. Скорее, выделение грамматической категории для обозначения «единства в паре или множестве» уходит корнями в универсальные когнитивные механизмы человеческого мышления. Исследования в области психологии развития (в частности, Ж. Пиаже [36]) и нейролингвистики подтверждают, что базовая когнитивная способность различать малые количества в паре с особым вниманием к отношению «два как общее целое» образует одну из когнитивных универсалий.

В разных культурах эта универсальная интуиция либо грамматикализуется, либо выражается лексически. Само существование двойственного числа у многих народов, не связанных генетически, указывает на его антропологическую основу. Таким образом в настоящее время можно ответить на вопрос о природе двойственного числа, поставленный М.В. Ломоносовым 300 лет назад: его едва ли можно считать и полностью искусственной (созданной грамматистами) и чисто естественной (исходящей из спонтанной народной речи). Эту двойственную и в вопросе происхождения в языках форму можно рассматривать как культурно-селекционированную, актуализируемую специфическим регистром языка.

Для российской цивилизации, формируемой современным русским литературным языком, идея *единства-во-множестве* – не отвлеченный философский конструкт, а онтологическая основа национального бытия. Эта идея нашла своё выражение в концепции «Русского языкового союза», которую развивал академик О.Н. Трубачев, определяя его как уникальное *духовное*, а не политическое образование, сложившееся на необъятных просторах России. Этот союз, по Трубачеву, – «великое и достаточно уникальное культурное наследие ... одна из гарантий сохранения единства страны и её культуры» [46]. Единство здесь основано не на принуждении и стандартизации, а на духовной общности, языке и культуре. Парадоксально, но историческое развитие русского языка в определенный период пошло по пути утраты грамматических форм, несущих эту идею. Двойственное число, в котором выдающиеся мыслители, как В. фон Гумбольдт, видели прямое грамматическое выражение «единства во множестве», исчезло из русского литературного языка, что если и не вполне ослабило, то однозначно обеднило средства языкового выражения принципа соборности. И если литургический церковнославянский язык по своему изначальному назначению был ориентирован на возгласение истины и служение сакральной сфере, то русский литературный язык, утратив грамматические маркеры соборности, в равной мере допускает как конструктивные, так и деструктивные речевые стратегии.

Предполагается, что для развития когнитивных и коммуникативных способностей носителей языка возвращение к пониманию этой формы (хотя бы на уровне метаязыка ОТЖС и в связи с представлениями о соборной форме слова) может иметь положительное значение: оно позволит точнее выражать соборные, коллективно-единые смыслы, которые в современном русском языке требуют громоздких перифразов.

Скептик мог бы спросить: если истина относительна к грамматическому регистру (профанному или сакральному), то как вообще возможно взаимопонимание? Ответ заключается в том, что участники диалога, находящиеся в одном регистре (например, в рамках богословской дискуссии), разделяют общие метафизические предпосылки, которые предварительно

синхронизируют их «грамматический режим». В.К. Шохин на этот счет иронизирует на это счёт так: «Те, кто доказывает существование Бога, еще глупее тех, кто отрицают его... Согласно тому же Григорию Богослову, нельзя богословствовать без этого чувства и недопустимо, чтобы догматы обсуждались с каким угодно слушателем – «чуждым и нашим, враждебным или дружественным, благонамеренным и злонамеренным». Теология есть в своем роде «мистерия-гаинство», которое профанируется, превращаясь в предмет публичных дебатов» [49]. Понимание в таких случаях возможно не вопреки релятивности, а благодаря ей – через осознанное переключение между регистрами и взаимное согласование онтологических рамок. Именно это и имел в виду М.М. Бахтин, когда говорил, что «слово живёт на границе своего и чужого сознания» [6].

Для технологического суверенитета России в области искусственного интеллекта это также имеет прямое значение: если российские языковые модели будут обучены распознаванию и генерации грамматических форм, несущих традиционные культурные и ценностные смыслы, то они смогут адекватнее работать с русской культурной традицией, чем иностранные аналоги, а также – оградить от навязывания концептов, нехарактерных языковому сознанию носителей. Создание *национального ИИ* невозможно без учёта тех глубинных грамматических структур, которые веками формировали русское мышление и языковое сознание. В таком контексте ОТЖС выступает мостом между традиционной грамматикой и современными задачами *гибридного интеллекта* [57].

В связи с вышеизложенным возникает вопрос о дообучении нейросетей регистровой идентификации: проблема распознавания регистров (классификации текстов) является классической для NLP. Метаязык ОТЖС предоставляет здесь гораздо более тонкий и релевантный инструмент для классификации, чем географические и хронологические признаки. Используя понятия («учёный», «гибридный», «простой» регистры, а также «профанный» и «сакральный» текст), можно дообучить существующие большие языковые модели (LLM), такие как *Vikhr* или *BERTislav*, для высокоточной автоматической идентификации любого из этих регистров в тексте [53]. В дальнейшем, на основе изложенных принципов можно разработать специализированный ИИ-ассистент «Живое слово» для системы образования. Такой инструмент, например, в формате чат-бота, смог бы по запросу пользователя: (1) найти в огромном корпусе текстов цитату из Библии или святоотеческое высказывание; (2) проанализировать стих, выделив в нём черты церковнославянской и русской грамматики; (3) дать справку о грамматических формах (например, объяснить разницу между аористом и имперфектом, двойственным и множественным числом), что значительно облегчит и ускорит обучение ЕИ.

Таким образом, ОТЖС не просто «объясняет» сакральные смыслы церковнославянского языка для ИИ – она предоставляет формальную, логически выверенную сетку категорий, которая превращает хаотичный набор древних правил в стройную обучающую систему.

### Заключение

Проведенный анализ показывает, что двойственное число, будучи утраченным в русском литературном языке, сохраняет свою когнитивную и лингвофилософскую потенцию в церковнославянской грамматике. Классический подход видел в нём лишь атавизм и нарост на языке; сравнительно-исторический, привитый русской языковедческой мысли значительным образом благодаря «Филологическим запискам», раскрывает его как выражение «единства-во-множестве». Интегрируя это знание через понятие соборной формы слова и грамматические категории в контексте русско-церковнославянского двуязычия, ОТЖС открывает новые горизонты для когнитивистики и киберлингвистики. Проблема дообучения ИИ пониманию этой формы становится в этой связи проблемой качества национального искусственного интеллекта.

Именно поэтому обращение к наследию «Филологических записок» – не исторический экскурс, а необходимое условие для реанимации того философского содержания грамматических форм, которое было открыто Гумбольдтом, но оказалось вытесненным позитивизмом и материализмом. Воронежская научно-педагогическая школа, укорененная в сравнительно-историческом методе, выступает здесь не просто хранителем традиции, но

активным агентом «воскрешения» соборной формы слова – и в грамматике, и в педагогике, и в национальном искусственном интеллекте.

Естественный язык в своей стихийной эволюции дрейфовал в сторону упрощения, утрачивая грамматическую точность ради прагматической лёгкости. Но язык искусственного интеллекта не обязан повторять этот путь. Сознательно проектируемый, он может ориентироваться на «учёный регистр» – включая двойственное число и аорист – там, где требуется онтологическая глубина. Суверенный национальный ИИ должен сочетать простецкую доступность с учёной точностью, реализуя симбиоз регистров.

Из сказанного вытекает и более общий вывод: поскольку в грамматике современного русского литературного языка отсутствуют формы, предназначенные для непосредственного выражения вневременного или вечного бытия, сама эта грамматика не может претендовать на вечность, и рано или поздно – под влиянием социокультурных сдвигов, языковой политики или педагогических инициатив – она будет меняться. Это наглядно показывает сравнение первых русских грамматик с современными. Вопрос лишь в том, какой вектор примут эти изменения. И здесь от учёного сообщества вообще и от разработчиков метаязыка ОТЖС в частности зависит возможность сознательно корректировать этот вектор: в сторону дальнейшей деактуализации церковнославянского наследия или, напротив, в сторону симбиотической интеграции, возвращающей грамматике утраченную способность выражать соборность и вечность – хотя бы в аналитических и образовательных целях. В этом смысле ОТЖС выступает не как созерцатель прошлого, а как активный «архитектор» грамматического будущего.

Обращение к понятию *метафизической грамматики* – это не архаизация, а сознательный выбор в пользу «медленной науки» [56], которая не боится задавать вопросы о том, как грамматика формирует онтологические интуиции. В эпоху цифровых гуманитарных наук, когда большие языковые модели воспроизводят грамматические структуры без понимания их метафизических импликаций, задача филолога и философа – сделать эти импликации предметом рефлексии. Как писал В. фон Гумбольдт, «язык не есть готовый продукт (*ergon*), а есть деятельность (*energeia*)»; и наша задача – описать эту деятельность во всей её полноте, включая её метафизическое измерение.

В Год единства народов России ответ на вопрос «Важна ли для российского сознания идея единства-во-множестве?» очевиден: эта идея категорически важна, и язык как выражение «мыслящего духа народа» должен располагать адекватными средствами для её выражения. Обращение к потенциалу русско-церковнославянской диглоссии – это не архаизация, а восстановление полноты языковой картины мира. Включение этого грамматического потенциала в систему образования и культурное пространство способно обогатить современный русский язык, сделав его более выразительным и точным для передачи сложных философских и этических концептов (разумеется, методы реализации этой задачи потребуют дополнительной проработки) [28]. Кроме того, осознание этого потенциала позволит скорректировать вектор развития грамматики: либо к дальнейшей сепарации и деактуализации церковнославянского наследия, либо к интегративному единству, создаваемому метаязыком ОТЖС. Желательно, чтобы эти перемены состоялись раньше, чем станет поздно.

Особое значение с учётом диглоссии эта реинтеграция может иметь и для развития языковых моделей национального ИИ. Обучение ИИ грамматическому потенциалу русско-церковнославянской диглоссии – это, по сути, задача «оцифровки» культурного кода. Такой ИИ станет не просто эффективным инструментом, но и хранителем и транслятором культурного кода, связывая воедино науку, технологию и традицию, что может стать ключевым шагом на пути к достижению технологического и ценностного суверенитета России, заключающегося сегодня не только в «железе» и кодах, но и в способности страны обладать собственными независимыми технологиями, особенно в области ИИ.

Понимание взаимодействия лексико-грамматических сем в рамках интегральной теории полисемии М.А. Стерниной позволяет сделать вывод, что современное состояние грамматики – это не каноническая данность, а результат бессознательного выбора. Этот выбор совершался

стихийно, в условиях, когда философская рефлексия о семантике грамматических форм (в духе Гумбольдта) ещё не существовала. Именно поэтому утрата двойственного числа и других категорий не была осознанным решением – она была следствием естественной (бессознательной) эволюции языкового сознания, не подкреплённой научным пониманием.

Однако сегодня, с развитием интегральных языковых теорий, ситуация меняется. Взаимодействие грамматических и лексических элементов может быть осмыслено не как *неосознанный естественный отбор*, а как *осознаваемый и потенциальный симбиоз* – взаимовыгодное сосуществование, позволяющее разным уровням языка (грамматике и лексике) не конкурировать, а дополнять друг друга. Именно такой симбиотический взгляд соответствует эволюционной парадигме Воронежской школы.

Из этого следует, что перспективы грамматического развития могут быть уже не стихийными, а осознанными и, в известном смысле, «искусственными» (в этимологическом значении этого слова – от лат. *ars*, искусство). Речь идёт об *искусстве*, основанном на когнитивных способностях человека и научном знании. Разрабатывая метаязык ОТЖС, учёное сообщество может сознательно корректировать вектор грамматической эволюции – не насильственно «возвращая» утраченные формы в повседневную речь, а актуализируя их смысловой потенциал в аналитических, педагогических и технологических целях (включая обучение ИИ).

## Приложение 1.

*Жизнь коротка и обманчива,  
но правда Христова пребывает вовек.*  
Свт. Александра Римская

История отношений категории двойственного числа с русской грамматикой аналогична её отношениям с некоторыми категориями времени, с той лишь разницей, что лингвофилософское содержание двойственного числа открывается в сопоставлении большего количества языков, а временных категорий – в сопоставлении богословского и философского понимания отношений времени и вечности [19; 30]. Поэтому и категория числа, и временные грамматические формы имеют особое значение для ОТЖС: если двойственное число служит коррелятом соборной формы слова, то аорист (и связанный с ним имперфект) оказывается грамматическим средством выражения *деяний Вечного начала* в связи со *временем*. При этом учёная интерпретация временного измерения в литургическом языке позволяет различать «всегдашнюю истину» и «временное событие», что видится целесообразным для диагностики конструктивных и деструктивных дискурсов.

Наиболее дискуссионную форму в этом отношении представляет собой *аорист*, уже только по своей этимологии нарушающий границы, установленные языку Л. Витгенштейном (от греч. ὁρίστος – «неограниченный», «не имеющий границ»). В новозаветном греческом и в церковнославянском аорист понимался как форма, обозначающая действие как факт, имевший место в прошлом. Однако, в зависимости от контекста, он мог выражать и *вневременную истину* – так называемый *гномический (афористический) аорист*. Английский грамматист Г.У. Смит приводил на этот счёт классический пример: *παθὼν δὲ τε νῆπιος ἔγνω* – «глупец познаёт, (только) страдая», где аорист не указывает на конкретное прошлое, а формулирует общезначимую истину, справедливую «всегда» [55]. По мнению же американского исследователя грамматики Нового Завета А. Робертсона, решающим для интерпретации аориста является контекст [52].

В церковнославянском языке аорист ассоциировался со способностью выражать действие, не привязанное к временной линии, что особенно важно для описания деяний Вечного Субъекта – Бога; однако единого понимания семантики временных форм не существовало. Что касается названий времен и их богословско-функционального содержания, то уже в Средневековье обнаруживаются различные интерпретации. Как пишут В.М. Живов и Б.А. Успенский: «Можно предположить, что от Иоанна Экзарха идет по крайней мере связь оппозиции временных форм с противопоставлением Бога и твари: к Богу относятся формы имперфекта, к твари – формы аориста. У Иоанна Экзарха оппозиция временных форм интерпретируется как противопоставление «всегдашнего» времени и времени собственно прошедшего, аористного. У Зиновия же оппозиция, как кажется, строится другим образом: к Богу относится не только имперфект, но и имперфектный аорист, обе эти формы противопоставляются перфектному аористу, и это противопоставление интерпретируется как различие между обозначенным и необозначенным началом процесса: аористу приписывается инхотативное значение, и именно поэтому он оказывается неприложим к не имеющему начала божественному бытию. Таким образом оппозиция подвергается переосмыслению <...> Там, где русские книжники говорят о тех же формах, они приписывают им другие значения, а там, где они обсуждают те же значения, они соотносят их с разными формами» [19, с. 372].

В качестве наиболее красноречивого примера можно привести пасхальное приветствие «Христос воскрес!»), где аорист в соответствии сакральному контексту и в связи с деяниями вневременного Субъекта означает не просто историческое событие, как это выглядит в профанном контексте, а надвременную актуальность Воскресения для прошлого, настоящего и будущего. Это же свойство гномического аориста делает его грамматическим средством выражения «вечной истины» – как в литургике, так и в философской афористике. Между тем для носителей русского языкового сознания содержание этих форм требует дополнительного пояснения, поскольку эти формы отсутствуют и в литературном, и

в разговорном языке, а сохраняются только в языке богослужения, таинства которого доступны далеко не всем.

Отдельное внимание в этой связи привлекает и колебание в грамматическом роде и падежных окончаниях названия *Псалтыри*, иллюстрирующие ту же логику регистрационного расслоения. В русском языке XVIII века и его грамматике, когда она только формировалась, существовала отличная от нынешней и система родов, включающая «всякий род» (*omne genus*), а также и «общий» (*commune genus*), позднее утраченные литературной нормой. Как и относящееся к *общему роду* слово *цыфирь*, очевидно, что и слово *Псалтырь* колебалось между женским и мужским родом, отсюда варианты «в Псалтыри» (жен. род, 3-е скл.) и «в Псалтыре» (муж. род, 2-е скл.). Показательно при этом, что выбор формы нередко коррелирует с регистром: книжный, учёный, церковный регистр тяготеет к «в Псалтыри», тогда как в простецком, разговорном употреблении встречается «в Псалтыре». Таким образом, это частное явление также демонстрирует различие регистров и идею о том, что новая литературная грамматическая норма складывалась в ходе бессознательных выборов, на которые влияла в том числе и регистровая принадлежность текста.

Ещё одна форма, существующая в церковнославянской грамматике в отличие от русской, является *имперфект* – форма, обозначающая действие в прошлом, которое длилось или повторялось. Различие между аористом и имперфектом позволяло более тонко передавать характер действия, особенно при описании сакральных событий, касающихся формулировки основных богословских положений (таких, как предвечность Отца, рождение Сына до и во времени, сотворение мира во времени и т.п.). Терминологическую полемику вокруг этих форм хорошо иллюстрируют средневековые грамматики: Мелетий Смотрицкий называл «мимошедшее» «имперфектом без контракции», а «непредельное» – «аористом», тогда как у Лаврентия Зизания «мимошедшее» время – уже «аорист» [19]. Эта терминологическая путаница свидетельствует, что понимание исконных значений имперфекта, аориста и перфекта постепенно утрачивалось. Хотя в Церкви и существовало строгое требование к правильности употребления глагольных форм, а за ошибку в применении аориста при описании деяний Спасителя можно было понести суровое наказание (например, дело Максима Грека, обвиненного в ереси за замену аориста перфектом).

Разрешить противоречие в известной и давней полемике об однозначном богословском содержании грамматических формы, помогает *контекстуальный подход* [2], согласно которому точное значение всякого аориста определяет контекст: если аорист контекстуально связан с *деяниями Творца* – он означает одно (вневременную истину), если в контексте твари – иное (простое прошедшее время). Именно поэтому одно и то же грамматическое явление в профанном и сакральном регистрах получает разную интерпретацию, а сама форма имеет двойственный характер.

В этой связи следует различать «нормальную» и «метафизическую» грамматику. Первая отвечает на вопрос «Как устроены языковые формы?»; вторая – «Какие картины мира эти формы делают возможными?». Именно второй вопрос и был утрачен в классической традиции, ориентированной на узус. Метафизическая грамматика актуализируется только в особых «учёных регистрах» (литургика, схоластика), где участники диалога разделяют общие онтологические предпосылки – например, различие «Творца» и «твари». В этом смысле она не является эзотерическим знанием для избранных, а представляет собой особый ракурс рассмотрения языка, требующий междисциплинарной подготовки.

Особенно наглядно демонстрирует, сколь трагические последствия может иметь неразумение «метафизической грамматики», история церковного раскола, в котором книжная справа была сосредоточена на «исправлении» литургических текстов. Таким образом, формальной причиной конфликта был спор о «правильности» употребления грамматических форм, что представляет церковнославянскую грамматику важнейшим инструментом формирования идеи единства-во-множестве, но часто игнорируемым объектом исторического анализа. Представляется, что чисто грамматическая сторона спора могла бы быть прояснена теперь с помощью контекстуального анализа, формализованного в системах ИИ (например, через

разметку аориста в сакральных текстах). Разумеется, эту ремарку следует воспринимать лишь как историческую иллюстрацию, подобную последней, не вполне завершённой и самой большой картине Василия Перова «Спор о вере», а не редукцию исторической трагедии только к проблеме грамматического знания, которое хоть и формально было одним из её оснований.



Рис. 1. Спор о вере. Василий Перов (1881)

Этот исторический пример подтверждает, что грамматику нельзя воспринимать лишь как нейтральную схему и что за обсуждаемыми грамматическими формами стоит глубокая философская традиция, ассоциация которой с богословской мыслью долгое время была невозможна. Речь идет о диалоге «Тимей», в котором Платон, рассуждая о бытии вечном, становящемся и возникающем во времени, различал три модуса существования: *вечное* (не рождённое, не гибнущее – τὸ ἀεὶ ὄν), *всегдашнее* (сотворённое, но не подверженное гибели – τὸ ἀεὶ γενόμενον) и *временное* (возникающее и гибнущее) [37]. Однако церковнославянская грамматика хоть и была ориентирована на греческую и благодаря аористу и имперфекту предоставляла возможность более тонкого различения деяний Вечного начала, всё же не могла себе позволить объяснение богословских тонкостей с помощью языческой философии. О понимании этих тонкостей, актуальных лишь для узкого круга «учёных книжников», а также о церковном отношении к античным философам, можно судить по письму Климентя Смолятича, называемого в Ипатской летописи «философом, какого на русской земле не бывало», смоленскому князю Ростиславу Мстиславичу, за которое митрополит был обвинен в «философствовании», что в те времена церковью осуждалось [32].

Процесс вытеснения аориста и имперфекта, а также двойственного числа, особенно ускорился в Петровскую эпоху, в частности в связи с проповеднической практикой Феофана Прокоповича. На этом фоне сложилось распределение регистров: *учёный церковнославянский* – язык литургических текстов и учёных богословских трактатов; *гибридный* – язык проповеди (духовной литературы, обращённой к широкой аудитории); *простой* язык – язык светской литературы [18]. В этом распределении проявилось противопоставление *гражданского* и *церковного* в языке – принципиальный элемент петровской культурной политики.

Платоновское различие модусов бытия оказалось востребованным в русской богословской традиции лишь в связи с переводами сочинений античных философов на русский язык в XVIII-XIX вв. В отечественной традиции зарождение «богословско-философского» подхода к языку церкви связано с именем Ф.А. Голубинского, заложившего основу онтологической школы в русском богословии, состоявшую в учении о Бесконечном, которое есть начало всякого индивидуального акта познания, а также – в учении о само-достоверности мышления [11]. По определению этого религиозного мыслителя, метафизика выступает как «система познаний, которые умствующий разум через разрешение идеи Бесконечного и через применение к ней наблюдений опыта внешнего и внутреннего необходимо собирает о Существо Бесконечном и Его свойствах, равно как и о том, какое сходство или сообразность с Ним принадлежит существам конечным, как материальным, так и духовным» [14]. Исследование проблемы сходства конечного (человека) и Бесконечного (Бога) привела Голубинского к важному выводу, сыгравшему свою роль в развитии религиозно-философской мысли в России. Признавая невозможность переноса на человека божественных характеристик, ибо некоторые из них «недоступны даже праведникам в силу их абсолютности и непостижимости», мыслитель говорил о богоподобии лишь при опоре на Премудрость Божию (Софию). Определение метафизики как теоретической философии и детальная проработка её частей значительно обогатило проблематику русского духовного ренессанса, позволило преодолеть те ограничения, которые существовали в изучении языка [7].

Описывая грамматику русского языка в середине XX века и отмечая, что традиционное учение о трёх основных временах русского глагола – *настоящем*, *прошедшем* и *будущем* – сложилось на почве античной грамматики и впервые было оформлено в уже грамматиках Лудольфа (1696) и Ададунова (1731), В.В. Виноградов обращал внимание на неразработанность вопроса о формах глагольного времени в русской грамматической традиции в целом: «Грамматическое изучение форм времени русского глагола и их значений в литературном языке конца XIX и XX в. стало специальностью западноевропейских лингвистов. Результаты новых работ в этой области еще не вошли в широкий обиход русской грамматики (не только школьной, но и научной). Учение о формах времени в традиционной русской грамматике явно обеднено и схематизировано» [12].

Анализируя впоследствии историю русского письменного языка, сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова (РАН), профессор В.М. Живов, обратил специальное внимание на существовавший в условиях двуязычия особый феномен – «учёный регистр»: в отличие от «гибридного книжного языка», он обслуживал схоластическую и богословскую мысль, являя собой пространство «метафизической грамматики». Именно здесь, согласно мысли В.И. Живова, и содержатся ключи к адекватному выражению категорий вечности и соборности, утраченные светским языком, однако эти ключи остаются доступными лишь узкому кругу «учёных книжников», оставляя основную массу носителей языка вне пространства подобного мышления.

Эта *метафизическая грамматика* исходит из предпосылки, что существуют вневременные истины и что язык способен их выражать через специальные грамматические формы. Такое понимание грамматики не отрицает материального субстрата языка, но полагает, что грамматические формы могут нести нагрузку, превышающую фиксацию чувственного опыта и социальных конвенций. *Материалистическая грамматика*, напротив, исходит из того, что язык – это продукт материальной истории, что все грамматические формы возникают и исчезают под давлением экономических, социальных и психофизиологических факторов, и что никаких «вневременных» смыслов за ними не стоит и стоять не может. В рамках материалистической парадигмы двойственное число – лишь архаизм, а аорист – простое прошедшее время, и не может быть речи об их особой философской или богословской нагрузке. Эта грамматика вполне самодостаточна для описания «мира вещей» и «мира социальных отношений», но оказывается слепа там, где речь заходит о вечных ценностях и соборном единстве.

Различие между *метафизической* и *материалистической* установками в грамматиках лучше всего рассмотреть на примере следующей таблицы.

Таблица 1

### Сопоставление материалистической и метафизической установок

<i>Мировоззренческая установка</i>	Тип грамматики	Корреспондирующие формы слова	Онтологический статус «вечных смыслов»
<i>Метафизическая</i>	Учёный регистр, метафизическая грамматика	Соборная форма слова	Существуют, могут быть выражены грамматически
<i>Материалистическая</i>	Объективная грамматика (без особого регистра)	Внешняя + внутренняя формы слова	Не существуют; грамматика – лишь продукт материальной истории

Такая дихотомия имеет прямое значение для дообучения систем искусственного интеллекта. Ведь если обучать нейросеть только на корпусах текстов, созданных в материалистической парадигме (новости, научные статьи, художественная литература XIX–XXI вв., где двойственное число и гномический аорист либо отсутствуют, либо не осмыслены), то машина никогда не научится распознавать метафизическую грамматику. Поэтому в перспективе дообучения систем искусственного интеллекта понимание аориста (как и двойственного числа) будет требовать определенной формализации. Если в разметку текстов ввести специальные тэги, соответствующие гномическому аористу, то можно обучать нейросети распознавать *соборную интенцию* и *надвременную истинность*. Для этого необходимо включать в обучающие выборки тексты «учёного регистра» – церковнославянские богослужбные книги, схоластические трактаты, философские сочинения, где грамматические формы сознательно используются для выражения соборных и вневременных смыслов.

Для метаязыка Общей теории эта способность особенно значима в виду ориентации живого слова на истину и общее благо, в связи с чем часто обращенного к надвременным ценностям. Наличие или отсутствие специальной временной формы для выражения «всегдашней истины» влияет на то, насколько органично такое понимание вписывается в грамматический строй. Отказ от аориста в русском литературном языке делает высказывания о вечных истинах («Бог есть», «Истина пребывает») более отвлеченными, требующими затрудняющего понимание перифраза. А с точки зрения гипотезы лингвистической относительности Сепира – Уорфа, это может снижать и когнитивные способности носителей языка в осмыслении вневременных смыслов.

Если представлять язык, согласно мнению В. фон Гумбольдта и К. Гейзе, как выражение умственной и духовной деятельности, как слепок с мыслящего духа, духа, мыслящего концептуально, можно без особого труда определить наличие двух различных мыслительных концепций, моделей мышления или типов мировоззрения: в церковной реальности животворит *вечный* и даже *предвечный Господь* (здесь время является нравственной категорией, его продолжительность и окончание зависит от нравственного состояния человечества), тогда как светская естественнонаучная мысль утешается рожденным, телесным и тленным скоротечным бытием и не закичивается на вопросе о бессмертии души.

Доминирование материалистической (или, шире, позитивистской) парадигмы привело к тому, что грамматика перестала быть «служанкой теологии» и стала служанкой «научного описания фактов». Но вместе с тем были утрачены и те грамматические инструменты, которые позволяли языку выражать *соборную форму слова*. Для ОТЖС этот выбор не безразличен: признавая, что живое слово может быть носителем общего блага и выражением вневременной истины, невозможно ограничиться одной только материалистической грамматикой. Поэтому

доступ к метафизической грамматике, её категориям и «учёному регистру», – хотя бы в метаязыке теории и в аналитических инструментах – безусловно, необходим. Именно это отличает ОТЖС от чисто позитивистских лингвистических теорий.

Таким образом, и двойственное число (категория числа), и аорист / имперфект (категория времени) в церковнославянской грамматике образуют взаимодополняющий ресурс для выражения и *единства-во-множестве*, и *вневременной истины*. Принимая во внимание это грамматическое наследие, ОТЖС может использовать оба инструмента в своём метаязыке, не требуя их принудительного возвращения в повседневную речь, но обеспечивая более точную диагностику конструктивных и деструктивных речевых практик. В этом единстве числа и времени, или соборности и вечности, образуются два столпа живого слова, воскрешаемого в метаязыке теории и, возможно, в цифровой аналитике.

### Литература

1. Адодуров В.Е. Первые основания русского языка / отв. ред. К.А. Филиппов, С.С. Волков. СПб.: Наука; Нестор-История, 2014. 256 с.
2. Атнашев Т., Велижев М. Кембриджская школа. «Context is king»: Джон Покок – историк политических языков // НЛЮ, 2015. №134. С. 21-44.
3. Барсов А.А. Российская грамматика / подгот. текста и текстол. коммент. М.П. Тоболовой; под ред. и с предисл. Б.А. Успенского. М.: Изд-во МГУ, 1981. С. 92.
4. Барсов А.А. О древности и превосходстве Славенского языка и способе возвысить оный до первоначального его величия. «Новый Санкт-Петербургский вестник», 1786, кн. 2, с. 131-144.
5. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / Сост. С.Г. Бочаров. М.: Ис-во, 1979. 423 с.
6. Бахтин М.М. Слово в романе // Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 72–233.
7. Безлепкин Н.И. Философия языка в России. К истории русской лингвофилософии. СПб., 2002. 272 с.: «Эта мысль о включении в метафизику идеи Софии была подхвачена и проинтерпретирована В.С. Соловьевым в контексте «философии всеединства».
8. Беккер К.Ф. Организм языка // Филологические записки, 1860. Вып. 1–6. С. 3–72.
9. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. М., 1963. Т.1. С. 37.
10. Булаховский Л.А. Исторический комментарий к русскому литературному языку. Киев, 1958. С. 317.
11. Введенский А.И. Протоиерей Федор Александрович Голубинский как профессор философии // Богословский вестник. Декабрь, 1897. № 12. С. 484.
12. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове): Учеб, пособие для вузов/Отв. ред. Г.А. Золотова. 3-е изд., испр. М.: Высшая школа, 1986. 640 с.
13. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. 133 с.
14. Голубинский Ф.А. Лекции философии. М., 1884. В. 1. С. 75.
15. Горбачевич К.С. Изменение норм русского литературного языка. Л., 1971. С. 211.
16. Гумбольдт фон, В.О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества / пер. П. Билярского. Санкт-Петербург: Тип. Имп. Акад. наук, 1859. 366 с.
17. Гумбольдт фон, В. О двойственном числе // Язык и философия культуры. М., 1985. С. 382-403.
18. Живов В.М. Язык Феофана Прокоповича и роль гибридных вариантов церковнославянского в истории славянских литературных языков // Советское славяноведение, 1985. № 3. С. 70-85.
19. Живов В.М., Успенский Б.А. Grammatica sub specie theologiae. Претеритные формы глагола «быти» в русском языковом сознании XVI–XVIII веков // Russian Linguistics, 1986. V. 10. № 3. С. 363-389.
20. Залевская А.А. Интерфейсная теория значения слова: психолингвистический подход. Тверь: Тверской государственный университет, 2014. 222 с.

21. Запольская Н.Н. Идеосемантика и идеофункциональность в церковнославянской грамматической традиции (к постановке проблемы) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. 2017. Т. 16. № 1. С. 45–53.
22. Кайперт Х. Грамматика и теология: по поводу языка-объекта славянского «Трактата о восьми частях слова» // Русский язык в научном освещении. М., 2008. С. 79-98.
23. Карамзин Н.М. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка // Избранные сочинения: в 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1984. С. 17–46.
24. Карамзин Н.М. Речь, произнесенная в торжественном собрании Императорской Российской Академии, 5 декабря 1818 года. В кн.: Сочинения, Т. III. М., 1848, с. 646.
25. Котляревский А.А. Сравнительное языкознание // Фил. записки, 1862. В. 4-5. С. 75-113.
26. Кубрякова Е.С. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики // Вопросы когнитивной лингвистики, 2004. № 1. С. 6-17.
27. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М.: Языки славянской культуры, 2004. 560 с.
28. Кузнецов П.С. У истоков русской грамматической мысли // Акад. наук СССР. М., 1958. 76 с.: «Мы знаем, что даже современные английские школьные грамматики в своей терминологии содержат многое из того, что восходит к античным грамматикам, пользуются такими грамматическими понятиями, которые совершенно не свойственны грамматическому строю живого современного английского языка».
29. Кузьминова Е.А. Грамматика как средство постижения Богооткровенной истины // Слово. Грамматика. Речь: Сб. научн.-метод. / Отв. ред. О.В. Чагина. М., 2008. Т.10. С. 79-90.
30. Лазарев А.И. Grammatica sub specie philosophia: вечность в философии и грамматике // По следам живого слова: монография. Научно-педагогическое наследие «Филологических записок» в современном контексте. М.: Инфра-М (Научная мысль), 2024. С. 97-113.
31. Ломоносов М.В. Материалы к Российской грамматике. М., 1952. С. 411.
32. Лопухин А.Д. Климент или Клим Смолятич // Православная Богословская энциклопедия или Богословский энциклопедический словарь. Том XI. С. 146-150.
33. Лудольф Г.В. Русская грамматика. Оксфорд, 1696 / переизд., пер., вступ. ст. и примеч. Б.А. Ларина. Л.: Ленингр. науч.-исслед. ин-т языкознания, 1937. 165 с.
34. Мережковский К.С. Теория двух плазм как основа симбиогенезиса, нового учения о происхождении организмов, Казань, 1909. 102 с.
35. Меркачева Е. Проект закона о регулировании ИИ расколол ученых: «конструкция рассыпается» // Московский комсомолец, 06.05.2026 <https://www.mk.ru/social/2026/05/06/proekt-zakona-o-regulirovanii-ii-raskolol-uchenykh-konstrukciya-rassypaetsya.html>
36. Пиаже Ж., Шеминьска А. Генезис числа у ребёнка. М.: Прогресс, 1964. 196 с.
37. Платон. Тимей // Платон. Сочинения: в 4 т. Т. 3. Ч. 1. М.: Мысль, 1971. С. 421–500.
38. Половцов В.А. Три направления в теории родного языка // Фил. записки, 1860. В.1. С. 19-35.
39. Потебня А.А. Мысль и язык / Полное собрание трудов // Подготовка текста Ю. С. Рассказова и О. А. Сычева. Комментарии Ю. С. Рассказова. М., 1999. 300 с.
40. РИБ, XXXIX, стб. 547-548.: «Не ищите риторики и философии, ни краснорѣчя, но здравымъ истиннымъ глаголомъ послѣдующе, поживите. Понеже риторъ и философъ не можетъ быта християнинъ... И вси святїи насъ научають, яко риторство и философство – внѣшняя блядь, свойственна огню негасимому».
41. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993. 123 с.
42. Стернина М.А. Лексико-грамматическая полисемия в системе языка: Опыт разработки интегральной теории полисемии // Дис. доктора филол. наук. Воронеж, 1999. 253 с.
43. Студенецкий В. Отношение слова к мысли // Фил. записки, 1861. Вып. 4. С. 214-218.
44. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 432.

45. Третьяковский В.К. Разговор между чужестранным человеком и российским об орфографии старинной и новой и о всем что принадлежит к сей материи. СПб., 1748. С. 299-300.
46. Трубочев О.Н. В поисках единства: взгляд филолога на проблему истоков Руси. М.: Наука, 2005. 286 с.
47. Успенский Б.А. Предисловие к «Российской грамматике» А.А. Барсова. М., 1981 г. С. 16.
48. Шлейхер А. Теория Дарвина в применении к науке о языке: Публ. послание д-ру Эрнсту Геккелю, э. о. проф. зоологии и дир. Зоол. музея при Иен. ун-те. СПб.: Тип. П.А. Кулиша, 1864. 14 с.
49. Шохин В.К. Теология как служанка философии, или современная версия традиционной метафизики // Оксфордское руководство по философской теологии. М., 2013. С. 9-29.
50. Энгельс Ф. Анти-Дюринг: [пер. с нем.]. М.: Изд-во полит. литературы, 1950. С. 303.
51. Pedrazzini N. BERTislav. Baseline fill-mask model based on ruBERT and fine-tuned on a 10M-word corpus. — <https://huggingface.co/npedrazzini/BERTislav>.
52. Robertson A. Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research. Louisville, 1914. 848 p.
53. Nikolich A., Korolev K., Bratchikov S., Kiselev I., Shelmanov A. Vikhr: The Family of Open-Source Instruction-Tuned Large Language Models for Russian. arXiv:2405.13929, 2024. — <https://arxiv.org/abs/2405.13929>.
54. Salo P., Heikkinen H.L. Slow Science: Research and Teaching for Sustainable Praxis // Confero. 2018. Vol. 6, Iss. 1. P. 87-111.
55. Smyth H.W. Greek Grammar. NY., 1920. 784 p.: «The aorist may express a General Truth. The aorist simply states a past occurrence and leaves the reader to draw the inference from a concrete case that what has occurred once is typical of what often occurs: παθὼν δέ τε νήπιος ἔγνων a fool learns by experience».
56. Stengers I. Another Science is Possible: A Manifesto for Slow Science / translated by S. Muecke. Cambridge: Polity Press, 2018. 163 p.
57. Zamprogno G., Tiddi, I., & Verheij, B. (2025). Autonomous Research Assistants for Hybrid Intelligence: Landscape and Challenges. In R. Petrick, & C. Geib (editors), Proceedings of the 2025 AAAI Spring Symposium Series (1 uitgave, Vol. 5, blz. 350-358).